

Жертва вечерняя

И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом всё то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил, да ещё и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.

хне куплеты. «Ленин Троцкому сказал: "Пойдем, милый, на базар, купим лошадь карию, накорим пролетарию". Или: "На бочонке я сижу, под бочонком ко- жа. Сталин Троцкому сказал: "Ты жидовска розжа". Кожа тут, конечно, только для рифмы. Или предсказание: "Эх, Алина, эх, Алина, убили Кирова, убьют и Сталина".

Владимир Крупин

Жертва вечерняя

Все теперешние мои вечера соединились в один вечер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока есть силёнки, отвязаться от того, что вспоминается внезапно или помнится постоянно, то есть уже мешаает. Пора свой дом подметать... А сколько прожито, сколько пережито! Как пелось в моряцкой песне: «Эх, сколько видано, эх, перевидано, после плавания в тихой гавани вспомнить будет о чём». Но не получилось в старости тихой гавани, да и пере-виданное приходится ли кому? Это же только мечтается, что чужое знание пригодится в «быстротекущей жизни». Каждый сам себе свои набивает шишки.

Ты русский? Значит, тебе тяжело всех

Сильных, умных, самостоятельных не любят. Все же хотят быть сильными и умными. За что ж русским даны сила и ум? Они же и так, и такие, они и сякие. И какая еще нация, кроме русской, выдержала бы многовековое глумление над собой? То ли мы привыкли, то ли считаем, что так и надо, и за издевательства не мстим. Это уж когда явно начинали приставать и вторгаться в русские пределы цивилизованные дикари Европы и Азии, тогда приходилось им давать по морде для образумления. И тут же их и жалеть. Кто ещё такой в мире, как русские? Жалеть врагов? Да, жалеем. Но доказательств до того, что уже ненависть к России поселилась в ней самой. Россию ненавидят те, кому она дала приют, образование, работу. Всегда русским было труднее, чем инородцам, пробиться в жизни. Попробуй еврея в вуз не принять; и не пробуй – без тебя примут. А русского оттолкнут и дальше пойдут. Это отпихивают и испытывают многократно. Но как русский не обижается совершенно. Те, кто отпихивал, где они? Всегда ощущал я в своей судьбе некую руководящую силу. Даже и называл её строчками из стиха Бунина «Некий народ моей судьбой правит, он меня в скитаниях не оставит, он мне скажет, если что: "Не то"». Этот «некий народ», воперкивиншись, я стал именовать Господом.

рёзе, дальше, например... плетёт лапти языком, чтобы вишивая команда не ходила босиком». А уж про Никиту анекдоты травляли по всем райкомам и обкомам. Он их и сам любил. К нему часто ходил первый председатель Союза писателей России Леонид Соболев; он перед визитом требовал у подчинённых их собирать: «К Никите иду, с порога спросит». Брежнев умирал под анекдоты о своём маразме. «Крупная спрашивает: "Леонид Ильич, вы помните моего мужа?" – "Товарища Крупского? Ну как же, как же"». А уже сменяющиеся часто Андропов, Черненко и анекдоты не заслужили... Нет, вспомнил один про Андропова. Ему докладывали: «Мы создаём камерный оркестр. "На сколько камер?"» А Ельцина и Горбачева и без анекдотов за правителей не считали.

Соотношение личности и истории надо вывернуть применительно к духу народа. Недавно, на Северном Кавказе, один горец откровенно говорил мне. «Люблю тебя, другому не скажу. Ты, русские, всегда не умеете жить, и всегда вами командуют. То варяги, то монголы, то немцы, то большевики, то коммунисты, сейчас евреи. А вы хороший народ, мы вас выручим, будет большой, во всю Россию халифат».

И отвечал кавказцу: ты точно заметил тех, кто садится нам на шею, и, конечно, плохо, что мы их со своей шее не сразу сбрасываем, но что делать: мы не то чтоб не умеем, но не любим командовать. Даже начиная со школы. Сидишь на классном собрании и под парту лезешь, чтобы никаким звеньевым не выбрали. Но что сие означает? Когда надо – у нас и Суворовы находятся, и Ушаковы, и Нахимовы, и Денисы Давыдовы. И Ермоловы.

Река Березина

Много словочей в мировой истории, но уж такую словочу, как Наполеон Бонапарт, трудно отыскать. Не зря его именovali антихристом. Этот властолюбивый убийца сумел быть симпатичным для всех гостиних Европы. Загнал лошадей в Успенский собор Кремля, а Европа пела ему дифирамбы. Письма его к Жозефине цитировали восхищённые дамы. Какой-то полячек, подтвердившей ему по дороге в Москву, доселе посвящаются произведения.

А он что такое он? Ну да, храбрый. Эпидемия чумы, он входит в палатку-лазарет, здоровается с ранеными за руку, выходит, требует варёную курицу и ест её руками. Бежит под пулями по мосту тоже не каждому дано. Но всё это не подвиги, а путь души, проданной дьяволу, к власти. Люди для него – сор, он предаёт кого угодно и когда угодно. Вот уж для кого Париж не стоит и полшучи. А ведь доселе к его могиле едут и идут, а последние метры к ней надо проходить, сгибаясь в поклоне. Такой этикет у французов. А что он принёс Франции, кроме горя? А нам?

Какую он Москву победил? Пустую. Стоял, ждал ключи от города. Вся Европа приносила ей ему с поклоном. И гора, на которой он стоял, уже была названа Поклонной, и доселе так. Только поклоня-то не дождался. Есть хорошее стихотворение, сравнивающее Европу и Россию. Про эти ключи: «Но там ключи хранили короли, а здесь они хранились у народа».

Его гнали вазней из почерневшей от пожаров Москвы, удирал он трусливо. Настагали в теперешней Беларуси, он совсем перенулся и решил спастись только свою шкуру. Бросил раненых, обозы, перекочил на наведённым мостам Березину и велел их возвращать. Да, вот так. Поксакал дальше, они кричат, что через следующую реку мосты не взорваны. Он кричит, и шестёрки при нём записали для потомков его крик: «Моя звезда снова восходит!»

Прискакал в Париж не с повинной головой, не с покаянием за огромное число погибших в России французов, а как победитель России. И ещё много пролил христианской крови. А на Березине его войска попробовали сопротивляться, но были деморализованы бегством императора, и соотношение жертв было сто к одному. То есть на сто убитых французов один наш.

Березина – это река у города Борисова. Как раз в Борисове стояли наши войска. Там сейчас мемориал. Как водится, французские памятники лучше и прибранней, чем наши. То же самое и на Бородинском поле. Это уж как водится. Но не надо видеть в этом какую-то нехорошую черту, мол, вот какие русские, память не берегут. Есть и это. Но есть главное: не на земле у русских царство на небесах, и в царство небесное ушли погибшие.

ли белочки. Сидят на хвостах, глядят, как хор цыганок. – Нет у меня орешков, нет семечек, – извинился я. – А жёлуди будете? Едите жёлуди? – протянул нагруженную ладонь. И подскокила смелая белочка, схватила жёлудь. Потом другая. Ловко очистили ладонь. Прямо весело стало. Ну да, тут са-наторная зона, причудливы их. Пришёл обратно. Сторож поинтересовался: – В Березине купались?



– Да. А вы не купаетесь? – Купаемся. И французы у нас любили купаться. Правда, зимой.

На причале в Ханов

Американским войскам во Вьетнаме привезли для их обслуживания проститутки. Целый корабль. Корабль потом понадобился для ввоза наворованного, а проститутки просто оставили. Они быстро оголодали, оборвались. Предлагали себя вьетнамцам, те их гнали от себя, били. Наши с ними тоже не общались, но по-человечески, по-русски, жалели. Давали еду. Даже заранее побольше готовили, зная, что проститутки придут.

– И вот интересно, – говорил мне свидетель этого факта, – все они были на всё готовые, но представить, чтобы вот я или вообще любой из нас позарился на них после американцев... ты что!

Тут есть над чем подумать.

Открытое голосование

В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого века было очень и очень престижно быть членом творческого союза. И очень выгодно. Особенно все мечтали стать членами Союза писателей. И даже не оттого, что был могучий Литфонд, писательская поликлиника, дома творчества, материальная помощь, прочее, – нет, главное, было почетно: член Союза писателей. Звучит.

Кандидат в члены Союза проходил испытательный срок. Вот он принёс книгу свою или две, или собрал публикация по газетам, журналам и сборникам, принёс. Ждёт очереди, иногда полгода-год, обсуждений своих трудов, и не сразу в Приёмной комиссии, а на секции поэзии, поэзии, критики, драматургии. Там рубка идёт страшная. Члены бюро секций – люди важные. Всё разберут, всё рассматривают. Кто, например, рекомендовал (нужны были три рекомендации от членов Союза со стажем не менее пяти, кажется, лет). Всё рассматривается с пристрастием; начиналось с секции поэзии, поэзии, критики, перевода. В секциях работы соискателей читали два рецензента. Потом шло обсуждение, потом секция голосовала (голосование было тайным) за то, чтоб принять или не принять. Принять? Значит документы шли в Приёмную комиссию. Тут опять очереди. Также долго. Перескочить очередь было практически невозможно. Я сам всё это прошёл, два с лишним года ожидания.

И вот я уже сам – член Приёмной комиссии. Нас человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, ибо понимаем: редакция судья. Сразу сообщу, что очень редко они решались объективно. Чаще всего работал принцип: наш – не наш. Талантливый – не талантливый – дело десятое. Примерно половина членов комиссии – евреи, половина – мы. Ни они без наших голосов, ни мы без их голосов не можем провести кандидата в Союз. Так что приходилось и им, и нам уступать друг другу. На каждом заседании

(раз в месяц) рассматривается деп пятнадцать-двадцать. Конечно, это много. Но куда денешься: очередь огромна.

Каждое дело докладывали те, кто читали представленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка понравилась, никто не возражает против приёма – крупный коричневый граф сеется. Досталось и мне. Конечно, это не дятлы, не град, а сыпались желуди. Такие красивые, крупные. Стали собирать. Ещё меня и по спине побарабанило. То ли сердились желуди, что в Москву их увозю, то ли пропались. И тут совсем дивно: меня обступили

ведь и закалка происходила, тоже важно. А иногда бывало обескураживающее одних и ралующее других решение: все хляпай принимаемого в Союз, а вскрывают урну – он не проходит. Нужно набрать более половины голосов. Более. А если половина проголосовала против, то вывод ясен. Бывали случаи, когда Комиссия соглашалась принять решение открытым голосованием. Например, так приняли в Союз композитора Богословского. Многим претило то, что он, непрерывно мелькающий на

экране, член и Союза композиторов, и Союза кинематографистов, ещё захотел называться потом и за тексты своих песен войти в наш, естественно, самый главный Союз. Несколько раз зарезали. Проходило время. Кто-то там на кого-то давил, документы возвращались с приплюсованными очередными текстами. Что делать? Голосовать открыто. Голоснули. Мол, уж ладно, будь.

И ещё одно открытое голосование помню. Поэт Саха Красный. Этому Сахе было сто три года. Я не оговорился: сто три. И вот, собрался в Союз писателей. Секция поэзии за него пропала: Ленина видел! Красный, конечно, – псевдоним, но на пляжьях Голодных, Беспощадных. Была представлена и оглашена частями его поэма «Почему и на основании каком Дуню Челюкову не избрали в фабком». Лучше было бы не оглашать. После молчания решили: а вдруг умрёт, если не примем. И на каком основании не принять? Ленина видел! Голосовали открыто и даже весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в поэзии.

Одному открытому голосованию я был виновником. После очередного заседания Комиссии её председатель позвонил мне и дал для прочтения три тоненькие книжечки из серии «Приложение к журналу "Советский воин"» и «Советский пограничник». Кто-то виновато просил доложить о них в следующий раз. Я прочёл. Это было нечто. Автор – женщина. Она живёт в сильно охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень одиноко, она тоскует по общению с народом и находит его в разговорах с дежурной в подъезде. И дежурной, и нам, читателям, жалутся на жизнь: как ей трудно блюсти порядок в многокомнатной квартире. Муж её всё время в командировках.

До заседания я подошёл к председателю и сказал, что это ни в какие ворота. – Но ты всё-таки рекомендуешь, – попросил он.

Если бы у нас была секция очерка хотя бы, тогда бы ещё куда ни шло. Председатель оживился: – А ты предложишь создать.

Я так и стал докладывать. После первых моих слов, что представленные «Приложения» никуда не годятся, от меня стали отсаживаться члены Комиссии. После вторых, что и речи быть не может о принятии автора по разделу поэзии, я остался один по мою сторону стола.

Меня это удивило, но я закончил: – Может быть, когда в Союзе будет секция очерка, давайте вновь вернёмся и пусть ещё кто-то другой прочтёт. Отзыв прилагаю. По-моему... безпроблемно.

Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый мочевой пузырь, что все об этом знает, выскочил из комнаты. – Предлагаю открытое голосование! – воскликнул дружно поддерживавший председатель.

Изумельствовало то, что все были за. При одном воздержавшемся, то есть кто я воздержался. Совершенно, кстати, недоумевая такому голосованию. После заседания, когда я пытался узнать причины столь дружного единодушия, от меня шархались. И только потом один, наедине со мной, разъяснил, что авторша эта – не кто иная, как жена первого зама председателя

Комитета госбезопасности. В моей жизни, по его мнению, наступали несчастливые времена. Но обошлось. По стечению обстоятельств этот первый зам вскоре застрелился в самолёте, возвращаясь из командировки. Но не оттого же, что жена стала членом Союза писателей?

Хотя эти три случая не были типическими. Обычно как-то договаривались. Например, евреи протягивают в Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантливый Александр. И им хочется нашего Александра зарезать. Но мы им говорим: зарежете Сашку, Илюшу утопим. И благополучно проходили и Саша, и Илюша. Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы – престарелыми, они – переводчиками. Секция переводчиков практически была вся еврейская, но предложение выдвело их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей было бурно отклонено.

Итак, довольные с пользой для литературы проведённым временем, мы интернационально выходили из помещения парткома, где заседали. Но сразу уйти домой было практически невозможно, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегодня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватало и тянули за биллоны накрытые столы и столики?

«Оставили в рядах»

Упоминание о парткоме в Доме литературы вызвало в памяти два его заседания, два персональных дела двух коммунистов: Солоухина и Окуджавы... Я не только был членом, но и всегда, по причине своей партийности, ходил в начальниках, то есть избирался в секретари, в бюро, в парткомы. Хотя и не рвался и не высывался, но вот это – «не могу молчать» и поиск справедливости в открытой борьбе меня подводили. Приходил в новый коллектив, сидел тихонько на собраниях, читал нужную книгу или рукопись, слушал краем уха, а в какой-то момент не выдерживал и просил слова. И что? И вскоре избирался. А какие, кстати, были привилегии у нас? Ходить на субботники? Дежурить в народной дружине? Вознос платить? Ездить в самые трудные командировки? А уж что касается общественной писательской жизни это было такое сжигание нервов, такая трата времени, о! Мало того, сколько врагов наживалось. Никто не хочет читать скандальную рукопись, на неё уже было пять отзывов: два хороших два плохих, а пятый и «за» и «против». Но есть полдозрение, что хорошие отзывы писали дружки-приятели автора, а плохие его завистники, так заявляет автор. Дают рукопись мне, кланяются, что всё анонимно. И таких случаев было много. Я всегда писал отзывы без оглядки, писал то, что думаю, чаще всего приходилось, что называется, резать, и что, думаете, авторы об этом не узнавали?

Но вернёмся к тому заседанию. В наведении рассказа использованы широко известные слова Владимира Солоухина после обсуждения его дела на парткоме. Его разбирали за публикацию рассказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке, в издательстве, помню, Профера. Владимир Алексеевич и не думал вынестись.

– Рассказ Проферу я не передавал, но здесь предлагал его несколько журналам. А деле Солоухина больше может рассказать писатель Юрий Поляков; он им, по заданию парткома, занимался. Я же был свидетелем выхода Солоухина в залу ресторана, где он, усевшись за трапезу, сообщил соратникам: – Оставили в рядах.

Но стоит поведать и о другом персональном деле – о деле по провозу в нашу страну полиграфической продукции членом КПСС Булатом Окуджавой. Тут всё было непростое.

Известный бард, песни его поёт молодежь, и не только. Ещё до обсуждения, пока Окуджавка в коридоре ждал приглашения, секретарь парткома крупносердечно общился, что в райкоме упёрлись и требуют для назидания прочих исключить коммуниста за такую тяжкую провинность, что на райкомовцев доводы о знаменитости не действуют. «Ну, и что, что заменит – тем более».

– Крови жаждут, – закончил сообщение секретарь, осмотрел нас тоскливым взглядом и велел секретарше просить обсуждаемого войти в помещение парткома.

Интересно, что это тогдашнее событие (а это было событие, и очень громкое) теперь представляется мелочью: подумается, три-четыре кассеты да журналы с похабщиной, их теперь на каждом углу кучи. Даже и восхититься можно поэтом: как далеко вперёд смотрел, боролся за либеральную ценность, чтобы каждый мог удовлетворить свои запросы. Хотя, когда зачитали список перехваченной кино-, фото- и журнальной продукции, он был ввнушитель. Оглашать не хотели, но пришлось. Представитель райкома, не очень-то ласково нас озираящий, сказал что полагается. Потом дали слово Окуджаве. Особенно его возмутило, что вещи пмонали и протокол писали те же таможенники, которые выпускали из Союза.

– До этого неделю назад автографы просили. То есть какие неблагодарные оказались. Старейший член парткома, боевой летчик, Марк Галлай окурнулся и всё повторял: – Мы вас так любим! Но зачем же это вам, а?

– Не себе всё, просили. – Кто? – сурово вопросил представитель. – Так, молодёжь, знакомые. Началось обсуждение. Выступления были односторонними. Да, нехорошо (следующий был: очень нехорошо!), у нас не агнивающий капитализм, но проступившийся – наш товарищ, фронтник, поэт-пенсник, с нами такое впервые, больше не повторится, мы в этом уверены, мы не можем поте-

рять своего соратника... и всё такое соответственное.

Вообще, у меня к поэту была и своя претензия. В одном из романов он написал такую фразу: «Плоское лицо тупого вальса». Именно вальсом я и являлся, а со мною и все миллионы наследников этого древнерусского племени. Я возмущался, но среди своих, а тут мне его было жалко, хотелось поскорее закончить мучительное для всех заседание. Вот сейчас пишу и стало вдруг совсем неинтересно. Зачем? Тем более теперь, когда всё так давно было. Тем всем судия.

Окуджаве помогло как раз обсуждение Солоухина. Как известно, Солоухину закатили строгий выговор с занесением в учётную карточку. Но не исключили же. И этот довод убедил, кажется, представителя райкома, когда мы отговаривали степень высканья. Уже без Окуджавы. Его прощали выйти в коридор, и он там сидел, ожидая решения. Члены парткома были далеко не дети, понимали, что публикация смелого, честного рассказа о похоронах матери, когда сельский священник чуть ли не тайком отпевает великую труженицу, православную женщину, и провоз портретов – две большие разницы, но всё-таки ограничались тоже строгачом, тоже с занесением.

– Эх, вы, – смеялся потом Солоухин, – что же меня не исключили? Дали бы мне Нобеля.

Ушли из рядов

В один день с Владимиром Алексеевичем мы вышли из КПСС. Главная причина – допсать...

Выпало из бумаг

В завалах записей встречаются иногда какие-то листочки, которые немного жалко. Нет листок, совсем истёртый. Он – один из нескольких, которые я исписал большим белым стихом об ораторах перестройки. Помню позов к этому стиху – по телевизору настойчиво показывали «Броненосец "Потёмкин"», который, как представляется в начале, «является лучшим фильмом всех времён и народов». Прямо Сталин какой-то киношный. Фильм, конечно, более, чем простенький, заказной, ленинградский период большевиками. Ну, собственно, да плохих, а пятый и «за» и «против». Но есть полдозрение, что хорошие отзывы писали дружки-приятели автора, а плохие его завистники, так заявляет автор. Дают рукопись мне, кланяются, что всё анонимно. И таких случаев было много. Я всегда писал отзывы без оглядки, писал то, что думаю, чаще всего приходилось, что называется, резать, и что, думаете, авторы об этом не узнавали?

Но вернёмся к тому заседанию. В наведении рассказа использованы широко известные слова Владимира Солоухина после обсуждения его дела на парткоме. Его разбирали за публикацию рассказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке, в издательстве, помню, Профера. Владимир Алексеевич и не думал вынестись.

– Рассказ Проферу я не передавал, но здесь предлагал его несколько журналам. А деле Солоухина больше может рассказать писатель Юрий Поляков; он им, по заданию парткома, занимался. Я же был свидетелем выхода Солоухина в залу ресторана, где он, усевшись за трапезу, сообщил соратникам: – Оставили в рядах.

Но стоит поведать и о другом персональном деле – о деле по провозу в нашу страну полиграфической продукции членом КПСС Булатом Окуджавой. Тут всё было непростое.

Известный бард, песни его поёт молодежь, и не только. Ещё до обсуждения, пока Окуджавка в коридоре ждал приглашения, секретарь парткома крупносердечно общился, что в райкоме упёрлись и требуют для назидания прочих исключить коммуниста за такую тяжкую провинность, что на райкомовцев доводы о знаменитости не действуют. «Ну, и что, что заменит – тем более».

– Крови жаждут, – закончил сообщение секретарь, осмотрел нас тоскливым взглядом и велел секретарше просить обсуждаемого войти в помещение парткома.

Интересно, что это тогдашнее событие (а это было событие, и очень громкое) теперь представляется мелочью: подумается, три-четыре кассеты да журналы с похабщиной, их теперь на каждом углу кучи. Даже и восхититься можно поэтом: как далеко вперёд смотрел, боролся за либеральную ценность, чтобы каждый мог удовлетворить свои запросы. Хотя, когда зачитали список перехваченной кино-, фото- и журнальной продукции, он был ввнушитель. Оглашать не хотели, но пришлось. Представитель райкома, не очень-то ласково нас озираящий, сказал что полагается. Потом дали слово Окуджаве. Особенно его возмутило, что вещи пмонали и протокол писали те же таможенники, которые выпускали из Союза.

Всёсветный батюшка

Православные паломники знают, как отradio, когда где-нибудь, в дальней поездке, в дальней от России стране, в церкви, видишь вдруг образ своего святого. То есть они, православные святые, все наши, все общеправославные, но всё-таки встретили привычный лик русского святого – это как улыбка родины.

Такое чувство испытываешь особенно часто в Греции. Её святые: Иоанн Русский, Нектарий Эгинский, Давид Эвбейский, Димитрий Солунский, Григорий Палама, Матрона Солунская, Косма Этолийский, афонские святые, а из них высочайший святой двадцатого века Пасий Святогорец, смотрят со стен православных храмов всех греческих церквей. И почти всегда радостно видишь образ нашего милого, сердечного батюшки Серафима, и подходишь к нему, как под благословение.

Очень, очень его чтят, молятся ему. Мало того – любимого всей Грецией старца Пасия называют греческим Серафимом Саровским. Та же в нём простота, отзывчивость, та же любовь к малым деточкам, то же понимание слабостей, прощение и величайшая молитвенность. Нет лучшего подарка для православных, живущих по воле Божией не в России, чем образочек, пусть самый скромный, преподобного Серафима Саровского.